

Моск. Новости. - 1995. - 24-31 дек. - с. 24

ПРОЗА

Точка, поставленная вовремя

Александр Солженицын
на фоне десятилетия 1985 – 1995

Всемирно знаменитый и т.д. писатель вполне заслуживает «подведения итогов». Тем более что в пяти рассказах этого года («Новый мир», № 5, 10, 1995) обнаружилась явная идеологическая перемена, сопряженная с интонационной: смещение от агрессивного эмигрантского националистического патриотизма в стиле Ивана Ильина к грустному западническому либерализму Георгия Федотова. Эмоциональные крайности оказались преодоленными и сменились ощущением экзистенциального бессилия перед тоталитарным Ленинфагом, а тяга к инвективам в адрес Горбачева и Ельцина и многовековым историческим охватам («Русский вопрос» к концу XX века. – «Новый мир», № 7, 1994) – лаконическими описаниями «частных» биографий.

Перемена симптоматична и знаменательна: в Вермонте еще казалось, что российские власти нуждаются в просвещении и малой толике ума; с близкого расстояния ситуация предстала уже другой. Наивная просветительская струя по инерции еще продолжала бить в регулярных выступлениях по телевидению (затем в аккуратно печатавшейся парижской «Русской мысли» – в России же нигде!), но в литературных произведениях возникла совсем иная, старомодная, тема, далекая от телевизионного политического проповедничества. Старомодная тема – трансформация личности под прессом тоталитарного режима. В трех «двухчастных рассказах» («Новый мир», № 10, 1995) Солженицын отправился в 1920 – 1930-е годы, но не потому, что не хватило знаний о современности, а за исторической аналогией.

Аналогия двояка: во-первых, скожи ситуации социально-политического и культурного перелома, следствием которых оказывается принудительная адаптация человека к новым условиям и переломанная, перекореженная, но все-таки приспособившаяся человеческая особь; во-вторых, развитие социального процесса в 1985 – 1995 гг. привело к такой смене запроса, предъявляемого государством человеку, что опять возникает необходимость морального сопротивления режиму (лозунг которого Солженицын держал в 70-е годы) и удержания той степени духовной свободы, которая властями была невольно подарена.

Объяснимся: в 1987 – 1992 гг. номенклатура провела плановый демонтаж социализма, реализовав свой грандиозный проект приватизации «общенародной собственности». Для подготовки населения к появлению официальных миллиардеров при неослабном контроле со стороны цензуры произвели плановое «ослабление гаек» и «чернение» предыдущего культурно-исторического периода, включая травестицию образа Сталина, а затем и Ленина. Добились этого простым, домашним способом: интеллигенции просто разрешили оправдать накопившиеся за 70 лет антикоммунистические залежи, что называется, «отвести душу», и постепенно-постепенно пошла компрометация ортодоксального коммунизма: в 1987 г., с апреля по июнь, публиковали роман Рыбакова, в 1988 г. –

романы Гроссмана и Пастернака, в 1989 г. пришел черед Солженицына. В середине 1987 г., сразу после «Детей Арбата», выпорхнули первые летучие листки самиздатовской периодики, за которыми как бы устали доглядывать власти: в июле 1987 г. в Москве начал выходить «Бюллетень христианской общественности», 1 августа 1987 г. появился первый номер газеты «Экспресс-хроника», в сентябре 1987 г. – журнал «Левый поворот»... Интеллигенцией вновь «запользовались», заодно создав у ее части иллюзию, что именно долголетний напор диссидентов, «слова правды» (которые, как известно, «весь мир перетянули») и т.п. сломали тоталитарный монолит. Эволюцию цензуры приняли за крах режима.

Что же особенного произошло в 1995 году, если осознание всего вышеизложенного возникло уже в 1990 году (тому есть свидетельства)? К 1995 году власти окончательно перестали нуждаться в «очернительстве» и идеологической деструкции; опять возникла нужда в ручной, полностью покорной прессе, которая обслуживает власть и способна на любые умолчания и ложь (а именно такая уже возникла повсеместно в российской провинции, включая Петербург, пресса которого целиком попала под власть чиновников); опять начал формироваться запрос на «человека для государства», соглашающегося если не безоглядно верить официозным сказкам, то молчать, не высказывая вслух возражений и протестов, а если потребуется, то расставаться с жизнью, здоровьем, собственностью ради высоких целей руководства. Не везде еще властям удалось добиться цели, но сама эта цель обозначилась предельно четко.

Солженицын же, почувствовавший начало реставрации, как раз и демонстрирует, как может обволакивать и засасывать идеология тоталитарного государства (которое у нас в минувшее десятилетие никуда не делось, сохранилось). Герой одного из рассказов Настенька, детство которой прошло у Чистых прудов, оказывается вместе с отцом (врач-эпидемиолог) принудительно перемещенной в Ростов-на-Дону, поступает там в Индустриально-педагогический институт, овладевает «марксистским литературоведением», идет работать в школу, и литература, когда-то в московской гимназии казавшаяся волшебной

«второй жизнью», теперь превращается в учебник стальной жестокости и источник страха. «...Не могла выражать, как чувствовала когда-то. Прежняя незыбленная цельность русской литературы оказалась будто надтреснутой – после всего, что Настенька за эти годы прочла, узнала, научилась видеть. Уже боязно было ей говорить об авторе, о книге, не дав нигде никакого классового обоснования. Листала Когана и находила, «с какими идеями это произведение кооприруется».

Смысль солженицынского текста кооприруется с той незаметно прошедшой переменой, которая случилась со многими нашими газетами и телепрограммами: критический настрой исчез, будто нет для него больше причин; победило понимание того, что «правда хорошо, а счастье лучше». Кто-то откровенно куплен, кто-то уже ощущает неуместность критики ввиду «коммунистической угрозы» и напряженных задач укрепления государства; кому-то, боящемуся возвращения коммунистов, сподручнее оправдываться исчезновением острых публицистов, иссяканием «слонов», ростом патриотических настроений, усталостью читателей от «чернухи» и всеобщим желанием радости и веселья.

Солженицын, мне кажется, очень точно ощущил совершающуюся перемену, отсюда и двучастный рассказ «Абрикосовое варенье»: первая часть – письмо советского зэка из раскулаченных, дошедшего на стройке ХПЗ в «тыловом ополчении» (один из мильых эвфемизмов ГУЛАГа); вторая часть – описание величественной барской жизни советского Писателя (легко угадывается: Алексей Толстой; но – не назван), которому зэк направил отчаянное письмо. Переливая чайной ложечкой «густую влагу абрикосового варенья», Писатель медленно рассуждает о первозданном языке, выплывающем из читательской глуби, и вспоминает о письме зэка. «Вы – отвечаете таким?» – почтительно спрашивает гость. «Да что отвечать, не в ответе дело. Дело – в языковой находке».



Александр Солженицын

«Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденящее, как точка, поставленная вовремя» (Бабель). В «Абрикосовом варенье» стоит именно такая точка. Но за классической ситуацией советского двоемирия, тран-

сформирующего человеческое отчаяние в «языковые находки», встает утверждающееся двоемирие нынешнее: нарядно раскрашенный, празднично-длиноногий-конкурсный, сказочно-сверкающий, депутатско-рекламный мир ТВ – и «невиртуальная» реальность с леденящими точками.

«Привет, мои дорогие родители! Я вам пишу еще одно письмо с одной и той же просьбой, чтобы вы меня отсюда поскорей забрали. Дела у меня тут хреново, все у меня болит. Полной грудью я уже сейчас не могу вдохнуть, сильно она у меня отбита, тоже самое у меня и с почками... Сильно болят ноги... У меня была мысль повеситься, но меня удержало одно: что вы у меня есть... Сейчас у меня еще сильно болит губа, начала нарывать...

Я тут об вас каждый день вспоминаю и жду, когда же вы за мной с папой на машине приедете, и я на северных воротах переоденусь и выйду за территорию этого лагеря, в котором я живу, как в аду.

... Я тут весь гниль начал, у меня больше всего сейчас гниет левая рука да губа... Хожу я тут весь синий, одно хорошо, на лице хоть синяков нет. Эти козлы берут полотенце, наматывают его на кулак и бьют. Губу порвали, но это внутри... Мамочка ты моя дорогая, пожалуйста, привезжайте с папой за мной побыстрей...

... Одному селезенку отбили, сейчас он лежит в госпитале, говорят, что ему ее вырежут и отпустят домой.

... Сильно опухла рука. Лекарств никаких нет, боюсь, что тоже может быть хреново. По утрам встаю и первым делом начинаю изо всех своих ран выдавливать гной, больно, сил нет... Я вас еще один раз прошу: если вы мне поможете, то я всю свою оставшуюся жизнь буду это помнить. Я перед вами встаю на колени, если вам и этого будет мало, то я даже не знаю, что мне делать...»

Эти письма присланы не из солженицынского ГУЛАГа, не из 1935 года; они написаны мирным теплым летом 1995 года в воинской части 3186 (внутренние войска); восемнадцатилетнего автора писем призвали 7 июня 1995 г., сразу же он был подвергнут жестоким избиениям. Мама с папой забрали солдата на КПП части 24 августа 1995 г.

Желающие могут сравнить текст писем солдата с текстом письма зэка из рассказа Солженицына, чтобы подивиться сходству, за которым, видимо, скрыты российские универсалии. То, что я осенью 1995 года не мог напечатать ни в одной из петербургских газет статью о пытках в нашей армии с цитатами из этих писем, – еще одна российская универсальность, которой-то и посвящен рассказ Солженицына. В период «деконструктивизма» и организованного партией «очернительства» тема прорвалась, потом кран снова завернули: другие задачи.